

Николай Семенович Лесков

Островитяне

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-3
ББК 84

Николай Семенович Лесков

Островитяне / Николай Семенович Лесков – М.: Книга по Требованию, 2011. – 140 с.

ISBN 978-5-4241-2450-1

Николай Семенович Лесков широко, объективно отразил в своих произведениях жизнь российского общества его эпохи - эпохи отмены крепостного права, пробуждения деловой активности масс, размежевания интеллигенции на разные идеологические "станы". Большое внимание уделял Лесков и русской старине, считая ценным для развития общества накопленный тысячелетиями народный опыт. Документальность многих его произведений сочетается с художественной выразительностью, психологической глубиной, яркостью языка.

ISBN 978-5-4241-2450-1

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011
© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Николай Лесков
Островитяне

Овцы царя Авгиаса не вместе, в стадах разделенных, —

В кругах разных пасутся; одни по долинам

Вооль берегов Элизента, другие у вод освященных

Старца Алфея, иные по злчным Бупроза вершинам,

Прочие в здешних окрестностях. Каждое стадо

Вечером с пастбищ собрать нам в овчарни отдельные надо.

Идиллия Феокрита.

Очень давно когда-то всего на несколько минут я встретил одно весьма жалкое существо, которое потом беспрестанно мне припоминалось в течение всей моей жизни и теперь как живое стоит перед моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посиневшая от мокроты и стужи девочка на высоких ходулях. В тот день, когда я увидел этого ребенка, в Петербурге ждали наводнения; с моря сердито свистал порывистый ветер и носил по улицам целые облака холодных брызг, которыми раздобывался он где-то за углом каждого дома, но где именно он собирал их — над крышей или за цоколем — это оставалось его секретом, потому что с черного неба не падало ни одной капли дождя. В этот ненастный, холодный день она вышла на грязный мощный двор из-под черной арки ворот в сопровождении еще более ее изнеможенного итальянского жида, который находился с нею в товариществе по добыванию хлеба, и в сопровождении целой толпы зевак, с утра бродивших для наблюдения, как выступают из берегов Лиговка, Мойка и Фонтанка. Бледный, чахоточный жид, сгибаясь в три погибели, нес покрытую клеенчатым чехлом шарманку; праздные люди гордо несли на своих лицах спокойную тупость бессмыслия. Девочка на ходулях была самым замечательным лицом во всей этой компании и с помощью своих ходуль возвышалась наглядным образом надо всеми. По силе производимого ею впечатления с нею не мог соперничать даже ее товарищ, хотя это был экземпляр, носивший, кроме шарманки, чахотку в груди и следы всех страданий, которыми несчастнейший из жидов участвует с банкиром Ротшильдом в искуплении грехов падшего племени Израиля. Во-первых, девочка была богиней: на ней был фантастический наряд из перемятой кисеи и рыжего плиса; все это было украшено гирляндами коленкорových цветов, позументом и блестками; а на ее высоком белом лбу лежала блестящая медная диадема, придававшая что-то трагическое этому бледному профилю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта пламенная еврейка одевалась в костюм Федры. Нет сомнения, что вошедшая на ходулях девочка тоже должна была воплощать в себе понятие о каком-то трагическом величии. Она вошла твердо и спокойною поступью, и когда сопровождавший ее жид завертел свою шарманку, она запела:

В Нормандии барон,

Большой любитель псов,

Жил с деревенской простотою.

В ее голосе, которым она пропела эту рыцарскую песню, было столько же

скромной твердости, сколько в ее тихом шествии на ходулях; но эта рыцарская песня не нашла сочувствия ни в ком, кроме одной слабонервной дворяжки, начавшей подвывать певице самым раздирающим голосом и успокоившейся только после пинка, отпущенного ей сострадательным прохожим.

Несравненно более общего внимания у зрителей девочка встретила тогда, когда она проплясала перед ними на ходулях какой-то импровизированный *matelot*.¹ Я видел, как при самом начале этого танца все самые тупые лица осклабились и праздные руки бессмысленно зашевелились, а когда девочка разошлась и запрыгала, каждую секунду рискуя поскользнуться и, в самом счастливом случае, только переломить себе ногу, публика даже начинала приходить в восторг. Из всех людей, стоявших на дворе, и из всех глазевших на эту пляску в окна лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое выражение, да еще было спокойно лицо самой танцовки. Черные глаза жиды то обходили дозором окна всех окружающих двор пяти этажей, то с ненавистью и презрением устремлялись на публику партера, вовсе и не помышлявшую достать из Кармана медный грош на хлеб голодному искусству.

– Если бы она плясала в длинном платье, она бы по крайней мере вымела бы мне двор, – проговорил присутствовавший в партере дворник.

Дворник сделал именно такое заключение, какое он должен сделать: «собаке снится хлеб, а рыба – рыбаку». Естественной этого ничего быть не может.

По мановению дворника прежде всех и проворнее всех поспешила исчезнуть под аркою ворот заходяя публика, наслаждавшаяся *rag grâce*² всеми вокальными и хореографическими талантами девочки на ходулях; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами в просторных орбитах, потянул, изнемогая под своей шарманкой, чахоточный жид, которому девочка только что успела передать выкинутый ей за окно пятак, и затем, уже сзади всех и спокойнее всех, пошла сама девочка на ходулях. Она удалялась в том же спокойном и гордом молчании, с которым входила назад тому несколько минут на этот двор, но из глаз моих до сих пор не скрывается ее бледный спокойный лоб, ее взор гордый и профиль Рашели, этой царственной жидовки, знавшей, с нею умерший секрет трогать до глубины онемевшие для высокого чувства сердца буржуазной Европы. Память моя в своих глубочайших недрах сохранила детский облик ходульной плясуньи, и сердце мое и нынче рукоплещет ей, как рукоплескало в тот ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни малейшего внимания ни глупым восторгам, ни дерзким насмешкам, плясала на своих высоких ходулях и ушла на них с гордым сознанием, что не даровано помазанья свыше тем, кто не почувствовал драмы в ее даровом представлении.

Я никогда ни одного слова не рассказывал о том, как приходила эта девочка и как она плясала на своих высоких ходулях, ибо во мне всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой истории ровно нет никакой истории. Но у меня есть другая история, которую я вознамерился рассказать вам, и эта-то история такова, что когда я о ней думаю или, лучше сказать, когда я начинаю думать об одном лице, замешанном в эту историю и играющем в ней столь важную роль, что без него не было бы и самой истории, я каждый раз совершенно невольно вспоминаю мою девочку на ходулях. И так как они не разлучались в голове моей и глядели на меня обе, когда я думал только об одной из них, то я не хочу разлучать их перед твоими глазами, читатель. Тебе было б жалко, как они

заплакали бы, заплакали бы разлучаясь, эти милые дети.

Я лучше желаю, чтобы в твоём воображении в эту минуту пронеслось бледное спокойное личико полурёбенка в парчовых лохмотьях и приготовило тебя к встрече с другим существом, которое в наш век, шагающий такой практической походкой, вошло в жизнь, не трубя перед собою, но на очень странных ходулях, и на них же и ушло с гордым спокойствием в темную, неизвестную даль.

Маничка Норк! Где бы ни была ты теперь, восхитительное дитя Васильевского острова, по какой бы далекой земле ни ступали нынче твои маленькие, слабые ножки, какое бы солнце ни грело твоё хрустальное тело – всюду я шлю тебе мой душевный привет и мой поклон до земли. Всюду я шлю тебе, незлобный земной ангел, мою просьбу покорную, да простишь ты мне, что я решаюсь рассказать людям твою сердечную повесть. Протяни мне твои маленькие прозрачные ручки; дохни на эти строки твоим чистым дыханием и поклонись из них своей грациозной головкой всему широкому миру божьему, куда случай занесет неискusstный рассказ мой про твою заснувшую весну, про твою любовь до слез, про твои горячие, пламенные восторги! И чувствует сердце мое, что дошла до тебя моя просьба; я слышу откуда-то, из какого-то сурового далека твой благословляющий голос, вижу твою милую головку, поэтическую головку Титании, мелькающую в тени темных деревьев старого, сказочного леса Оберона, и начинаю свой рассказ о тебе, приснопамятный друг мой.

Глава первая

Я обязан представить вам героиню моей повести и некоторых лиц ее семейства. Маничка Норк была петербургская, василеостровская немка. Ее мать, Софья Карловна Норк, тоже была немка русская, а не привозная; да и не только Софья Карловна, а даже ее-то матушка, Мальвина Федоровна, которую лет пятнадцать уже перекатывают по комнатам на особо устроенном кресле на высоких колесцах, так и она и родилась и прожила весь свой век на острове. Отца своего Маничка Норк не помнила, потому что осталась после него грудным ребенком: он умер, когда еще старшей Маниной сестре, Берте Ивановне, шел всего только шестой год от роду. Софья Карловна Норк овдовела в самых молодых годах и осталась после мужа с тремя дочерьми: Бертой, Идой и Марьей, или Маней, о которой будет идти начинающийся рассказ. Муж Софьи Карловны, Иоган-Христиан Норк, был по ремеслу токарь, а по происхождению петербургский немец. Он был человек пунктуально верный, неутомимо трудолюбивый и безукоризненно честный. Работая всеми этими качествами, Иоган-Христиан Норк за сорок лет неусыпного труда успел скопить себе кое-какую копеечку и, отходя к предкам, оставил своей верной подруге, Софии Норк, кроме трех дочерей и старой бабушки, еще три тысячи рублей серебром государственными кредитными билетами и новенькое токарное заведение. София Норк, схоронив мужа, не опустила ни головы, ни рук. Плакав свою потерю, она стала думать, как ей прожить с детьми своей головою. Софья Карловна была в состоянии это обдумать, потому что у нее от природы был ясный практический смысл и она знала свое маленькое дело еще при муже. Еще и ему она была серьезно помощницею. Не говоря о том, что она была хорошей женой, хозяйкою и матерью, она умела и продавать в магазине разные изделия токарного производства; понимала толк в работе настолько, что могла принимать всякие, относящиеся до токарного дела заказы, и – мало этого – на окне их магазина на большом белом листе шляпного картона было крупными четкими буквами написано на русском и немецком языках: *здесь починают, чистят, а также и вновь обтягивают материей всякие, дождевые и летние зонтики*. Это было уже собственное производство Софьи Карловны, которым она занималась не по нужде какой крайней, а единственно по страстной любви своей к труду и из желания собственноручно положить хоть какую-нибудь, хоть маленькую, хоть крохотную лепту в свою семейную корвану. Результаты, однако, скоро показали, что лепта, добываемая Софьею Карловною через обтягивание материей всяких, дождевых и летних, зонтиков, совсем и не была даже такою ничтожною лептою, чтобы ее не было заметно в домашней корване; а главное-то дело, что лепта эта, как грош евангельской вдовицы, клалась весело и усердно, и не только радовала Иогана-Христиана Норка при его счастливой жизни, но даже помогала ему и умереть спокойно, с упованием на бога и с надеждой на Софью Карловну.

– Софья! – говорил он, мучительно борясь со смертью, – дети... я на тебя... на тебя надеюсь...

– О, мой Иоганус! – отвечала, рыдая, Софья Карловна.

– Маньхен... – продолжал, хрипя, умирающий, – береги ее... мою горсточку... мою маленькую...

– О, всех! всех, мои Иоганус! – отвечала опять Софья Карловна, и василеостровский немец Иоган-Христиан Норк так спокойно глядел в раскрывавшиеся перед ним темные ворота сени смертной, что если бы вы видели его тихо меркнувшие очи и его посиневшую руку, крепко сжимавшую руку Софьи Карловны, то очень может быть, что вы и сами пожелали бы пред вашим походом в вечность услышать не вопль, не вой, не стоны, не многословные уверения за тех, кого вы любили, а только одно это слово; одно ваше имя, произнесенное так, как произнесла имя своего мужа Софья Карловна Норк в ответ на его просьбу о детях.

Но дороже всего не то, что Софья Карловна умела хорошо сказать это слово; это, конечно, важно было только для умиравшего, а для оставшихся жить всего важнее было, что всю музыку этого слова она выдержала.

Токарное производство мужа после его смерти у Софьи Карловны не прекратилось и шло точно так же, как и при покойнике, а на другом окне магазина, в *pendant*³ к вывеске о зонтиках, выступила другая, объявлявшая, что *здесь чистят и переделывают соломенные шляпы, а также берут в починку резиновые калоши и клеят разбитое стекло*. Прошел год, два, пять лет, – вывески эти неизменно оставались на своих местах; Софья Карловна неизменно содержала то же самое заведение и исправно платила деньги за ту же самую квартиру на Большом проспекте. В это время дети подросли, бабушка совсем выжила из века, хотя, впрочем, все-таки по-прежнему ездил в своем колесном кресле, а Софья Карловна все трудилась, трудилась без отдыха, без сторонней помощи и вся жила в своих детях. Берта и Ида ходили в немецкую школу и утешали мать прекрасными успехами; любимица покойника, Маньхен, его крохотная «горсточка», как называл он этого ребенка, бегала и шумела, то с сафьянным мячиком, то с деревянным обручем, который гоняла по всем комнатам и магазину.

«О, мой Иоганус!» – думала Софья Карловна, вздыхая и уныло глядя на резвившегося ребенка.

– О, мой милый Иоганус! – говорила она вслух, ловя убегающую Маньхен и прижимая девочку к своему увядшему плечу, откуда трудовой пот давно вытравил поцелуи истлевшего Иогануса, но с которыми, может быть, не хотела расставаться упрямая память.

Так опять шли годы. Состояние Норк, благодаря неусыпным трудам матери, не расстраивалось; фрейлейн Берта «отучилась» в школе и прямо со скамьи сделалась невестой некоего Фридриха Шульца, очень хорошего молодого человека, служившего в одной коммерческой конторе и получавшего большое содержание. Приданым за Бертой Ивановной пошли: во-первых, ее писаная красота и молодость, а во-вторых, доброе имя ее матери, судя по которой практичный Фридрих Шульц ждал найти доброе яблочко с доброго дерева. Берта его не обманула. Вторая девица Норк, Ида Ивановна, только что доучилась; а одиннадцатилетнюю Маничку только отвели в школу.

Глава вторая

В народных сказках наших часто сказывается, что из трех детей, рожденных от одних и тех же родителей, третий, самый младший, задается либо всех умнее, либо всех сильнее, либо всех счастливее и удачливей. Ходя по русской земле, зашла эта сказка и в семью покойного русского немца Иогана Норка. Маня была дитя совершенно, что говорят, «особенное», какое-то совсем необыкновенное. Умна и пытлива она была необычайно; доброте и чистосердечию ее не было меры и пределов: никто в целом доме не мог припомнить ни одного случая, чтобы Маничка когда-нибудь на кого-нибудь рассердилась или кого-нибудь чем-нибудь обидела. Все знавшие этого ребенка удивлялись на него и со страхом говорили: ох, она не будет жить на свете!

– Нет, нет и нет, – настаивала старая русская кухарка Норков, – что наша барышня, Марья Ивановна, не жилец на этом свете, так я за это голову свою дам на отсечение, что она не жилец.

Кухарке головы не отрубили, и Маша росла на общую семейную радость и утешение.

Для матери и рассыпбвшейся пеплом бабушки этот ребенок был идолом; сестры в ней не слышали души; слуги любили ее до безумия; а старый подмастерье Норка, суровый Герман Верман, даже часто отказывал себе в пятой гальбе пива единственно для того только, чтобы принести завтра фрейлейн Марье хоть апельсин, хоть два пирожных, хоть, наконец, пару яблок. Одним словом, Маня была домашний идол в полном значении этого слова. Одно только в ней сызрана начало тревожить ее мать и бабушку – это какой-то странный необъяснимый для них перелом в ее характере, подготовленный, конечно, ее слишком ранним развитием и совершившийся на девятом году ее детской жизни. Перелом этот выразился тем, что неудержимая резвость и беспечная веселость Мани вдруг оставили ее, словно отлетели: легла спать вечером одна девушка, встала другая. Думали, что она больна, попробовали полечить – ничего не помогло; добивались у нее, не видала ли она чего-нибудь необыкновенного во сне, – это стало сильно досаждать девочке, она расстроилась и заплакала. Ее оставили в покое, думая, что это она так загрустила и что это непременно пройдет. Опять ошиблись: ни игры, ни шалости больше не манили к себе Маню – возратить ее к ним не было никакой возможности. Маня, которую, щадя ее слабое здоровье, долго не сажали за книжку, вдруг выучилась читать по-немецки необыкновенно быстро; по-русски она стала читать самоучкой без всякого указания. С этих пор ее нельзя было разлучить с книгою. Ручным работам она училась усердно и понятно, но обыкновенно спешно, торопливо кончала свой урок у старой бабушки или у старшей сестры и сейчас же бежала к книге, забивалась с нею в угол и зачитывалась до того, что не могла давать никакого ответа на самые простые, обыденные вопросы домашних. Ни веселого хохота, ни детских игр не знала с этих пор Маня; все те, небольшие конечно, удовольствия, которые доставляла ей мать, она принимала с благодарностию, но они ее вовсе не занимали. Чтение развивало в ней страшную впечатлительность, которая обратила на себя серьезное внимание родных только после следующего случая. Взяла ее замужняя сестра один раз в театр на «Уголино», и сама была не рада с нею ни спектаклю, ни жизни. Маня

разрыдалась в ложе и после того шесть недель вылежала в нервной лихорадке. Каждую почти ночь во время болезни она срывалась с кровати, плакала и кричала:

– Съешьте меня! Меня, меня съешьте скорей!

Впечатлительности девочки стали бояться серьезно. Ее старались удалить от всего, что могло, по соображению родных, сильно влиять на ее душу: отнимали у нее книги, она безропотно отдавала их и, садясь, молчала по целым дням, лишь машинально исполняя, что ей скажут, но по-прежнему часто невпопад отвечала на то, о чем ее спросят. Родные теряли голову с этой восприимчивостью Маши. Как тщательно они ни берегли ее, невозможно же все-таки было удалить ее от всего, что различными путями добивалось в ее душу, с чем говорило ее чуткое сердечко. Оно говорило с визгливою песнью русской кухарки; с косящимся на солнце ошипанным орлом, которого напоказ зевакам таскал летом по острову ошипанный и полуголодный мальчик; говорило оно и с умными глазами остроженного пуделя, танцующего в красном фраке под звуки разбитой шарманки, – со всеми и со всем умело говорить это маленькое чуткое сердечко, и унять его говорливость, научить его молчанию не смог даже сам пастор Абель, который, по просьбе Софьи Карловны Норк, со всех решительно сторон, глубокомысленно обсудил душевную болезнь Мани и снабдил ее книгами особенного выбора.

Глава третья

Мое знакомство с семейством Норк началось в гораздо позднейшую эпоху, чем Манино детство, и началось это знакомство довольно оригинальным образом и притом непосредственно через Маню.

Дело это-таки, впрочем, уж было давненько. Жил я тогда на Васильевском острове, неподалеку от известной немецкой школы. Один раз летом возвращался я откуда-то из-за Невы; погода была ясная и жаркая; но вдруг с Ладоги дохнул ветер; в воздухе затряслось, зашумело; небо нахмурилось, волны по Неве сразу метнулись, как бешеные; набежал настоящий шквал, и ялик, на котором я переправлялся к Румянцевской площади, зашвыряло так, что я едва держался, а у гребца то одно, то другое весло, не попадая в воду и сухо вертясь в уключинах, звонко ударялось по бортам. Кое-как я перебрался на свой остров и чуть только ступил на берег, как хлынул азартнейший холодный ливень; ветер неистово зашвыряло и понесся вдоль линий; крупные капли били как градины; душ был необыкновенный. Я бросился бежать, как поспевали ноги, словно ребенок, преследуемый страшными привидениями, и, влетев на свой подъезд, совсем было сбил с ног спрятавшихся здесь от дождя двух молоденьких девочек. Обе они были мокрехоньки и робко жались у стенки. На обеих на них были коричневые лустриновые платья и черные переднички с лифами и гофрированными черными же обшивками. Поверх платья на одной из девочек, чернозамазенькой и востролиценькой брюнеточке, была надета пестрая шерстяная тальмочка, а на другой, которую я не успел разглядеть сначала, длинная черная тальма из легкого дамского полусукна. На голове первой девочки была швейцарская соломенная шляпа с хорошенькими цветами и широкой коричневой лентой, а на второй почти такая же шляпа из серого кастора с одною черной бархаткой по тулье и без всякой другой отделки. У обеих на руках висели зеленые шерстяные мешочки, в которых сквозь взмокшую материю ясно обрисовывались корешки книг и пинали.

– Бедные две девочки, как тут приютились у нас на подъезде! – сказал я, представляясь в виде Язона мутным очам добродетельнейшей в мире чухонки Эрнестины Крестьяновны, исправлявшей в моей одинокой квартире должность кухарки и камердинера и называвшей, в силу многочисленности лежавших на ней обязанностей, свое единственное лицо собирательным именем: *прислуги*.

– О мейн гот! Дас ист шреклик!⁴ – заговорила моя «прислуга».

– Да, – говорю, – позвать бы их к нам, Эрнестина Крестьяновна, чтоб не простудились они там стоячи мокрые на сквозном ветру.

– О ja, ja! Gott bewahr!⁵ – залепетала «прислуга» и побежала на лестницу.

– Ну сто? – начала она, появляясь через минуту назад с растопыренными руками и с неописанным смущением на лице: – один как совсем коцит, а другой совсем не коцит; ну, и сто я зделайть?

Я вышел на подъезд сам. Девочки по-прежнему жались у стенки; черненькая несколько выдавалась вперед, а другая совсем западала за ее плечико.

– Войдите, сделайте милость, к нам, пока перейдет дождик, – сказал я, обращаясь к обоим детям безразлично.

Черненькая взглянула на меня быстро, но ничего не ответила, а по глазам ее видно было, что ей тут очень неловко и что она решительно не прочь бы зайти и